

# Дмитрий Кожушко

---

Прозаик, 56 лет. Родился в Баку, последние тридцать лет живет в Коломне Московской области.

## ***Сон в летнюю ночь***

Не могу избавиться от некоторого недоумения по поводу их бесчувственности, тысячи лет молчаливо взирают они на все выкрутасы людей, точно так же, наверное, не пошевелились в начале времен, когда кровь Авеля брызнула и покрыла их, и свернулась на пыльных их листьях рубиновыми бусинами. Стоят молчаливыми истуканами, шумят листвой, услужливо предоставляют сучья свои, как будто специально выращенные для удобного перекидывания через них петли с тяжелым узлом. И ведь, презрев все равно в конце дней непонятную эту отстраненность, и в наказание за равнодушие, нарежут тела их ломтями, смастерят из них рубища каждому по росту, и обречены общие останки наши с ними лежать вповалку, ожидая дня всеобщего воскресения.

В то высокое зарешеченное окошко, до которого он едва дотягивался, слышны голоса и только лишь видны головы в фуражках суетливодвигающихся взад-вперед людей, а над ними все те же предательские березы, оправдывая все это беззаконие, шумят на весеннем ветру, проклюнувшись первыми зелеными листочками, как и в детстве шумели над ним, будто ничего и не случилось на свете.

А вот взяли бы и окаменели хоть на время, сделались серыми, замерли, и небо посерело бы. Теперь понятно, почему расстреливают всегда на рассвете, это ведь очень важно: деревья на рассвете невеселы, притихли и замерли в испуге, и воздух свеж, это нарочно, чтобы последний раз вдохнуть такой, а небо на рассвете скорбное и нежное, как Богородица, а то, что на востоке успело заалеть, так это пусть, лучше даже. Это к сердцу заместо молитвы.

Он ждал боли, а ее все не было, кровь прилила к ногам, и они сделались упругими и необычайно сильными, такими, что держать свое тело, разгружая пробитые руки, им не составляло никакого труда, и, кажется, напрягись он еще чуть — и разорвет веревки, которыми опутаны были ноги его и скручены, и связаны намертво с этим крестообразно выросшим деревом. В руках лишь немного жгло да било пульсом. «Ты смотри, а офицерик-то жилистый, так он, чего доброго, и до Пасхи довисит. Может, ему еще по одному вколотить... В ноги, или как», — задумчиво проговорил один из вставших в кружок в отдалении и о чем-то вполголоса буднично разговаривающих между собой, изредка сплевывающих в сторонку, похлопывающих нагайкой по голенищу сапога и почти никак не проявляющих внимание к происходящему на этом причудливом дереве, отчего казалось, никакого отношения к этому не имеющих. Потому фраза эта, по тону не намного громче, чем вся их остальная лениво проходящая беседа, брошенная конопатым с большим ртом, редко когда полностью лишенным улыбки, и с озорными искорками в глазах, хоть и притушенными им в угоду ситуации, но на самую малость, красноармейцем с горстью как бы в подтверждение вытщенных им из кармана порыжевших галифе такого же цвета ржавых гвоздей, так вот, фраза, внезапно выстроившая мостик между этими двумя вроде бы никак между собой не связанными существованиями событий, оказалась неожиданной не только для стороннего наблюдателя, появившись он там, но и для этого самого офицерика на дереве, стесняющегося будто необычности своего положения, а еще того, что оказался он вдруг неожиданно жилистым.

Услышав ее, он попытался подогнуть ноги, принимая более подобающую всему этому действию позу. В этот момент пришла боль. Сразу везде, и даже в плечо, в которое получил удар прикладом. «Это за малодушие», — подумал он. Обратное напряг начавшие неметь ноги и, выправляя тело, неожиданно даже для самого себя произнес, немного пришепетывая из-за выбитых зубов: «Давай вколоти». — «Так я мигом, — солдатик оживился, стал озираться гоголем, пытаясь заручиться поддержкой товарищей, — слышь, вколоти, говорит... Ща сделаем». — «Да брось, к утру подохнет, пошли», — вмешался тот, что стоял до того момента молча и зыркал только из-под черных сросшихся цыганских бровей. Но конопатый не слышал, подойдя к подножию этого природой созданного креста, пытался дотянуться уже, совершая неловкие взмахи рук, и вдруг стал стремительно возрастать, подтягиваться, ноги неестественной длины его стали напоминать ходули, и вот он уже напротив, тычет-скребет большим ржавым гвоздем, желая процарапать на коре и как бы намечая место, куда вколотить его, а в другой руке держа ви-

давший виды весь то ли в мазуте, то ли в запекшейся крови наготове молоток. И вдруг, глянув в лицо ему удивленно и радостно от, наконец, найденного решения сложной задачки, скоренько прикладывает мягкой теплой ладонью своей острый гвоздь больно так прямо к середине лба и замахивается уже молотком, и тут вдруг раздается громкий и залихватский с хрипотцой петушиный крик, и здесь, как и везде, знаменует окончание одного и начало чего-то нового. Он дергает головой в направлении этого крика и просыпается... Задышав часто, как будто от недостатка воздуха, посмотрел в сторону окна — не начало ли светать. Но нет, время, проведенное во сне, мало соотносится со временем реальным, и с того момента, как провалился он в этот жуткий необыкновенный удивительный сон, прошло от силы минут десять.

Говорят, какой-то американский профессор вывел закон, по которому для человека, летящего в аэроплане, только очень быстро летящего, подобно лучу света, время течет медленнее, а для тех, кто на земле, наоборот. Для него проходит минута, для них — годы. И вот, склонившись к земле, преодолевая порывы ветра, треплющего его щеки, будто они парусиновые, между несущимися клочками облаков, закрываясь от слепящего солнца рукой в перчатке с большим раструбом, сквозь массивные очки, которые, когда запотевают, он протирает другой перчаткой, видит их на земле мелкими снующими взад-вперед фигурками, стремительно стареющими и периодически исчезающими из поля его зрения. Он, конечно же, догадывается, куда, и по этой причине все внимание его приковано именно к этим исчезновениям. Но бывает, что и ему наскучит наблюдать за ними, тогда он откидывается и смотрит в небо, и, как шлейф, тянется за аэропланом его яркой расцветки шарф. Вот так же и во снах, видимо, уносимся куда-то с огромной скоростью, и время поэтому течет медленнее.

Нет, не страх, скорее оставленность, когда совсем не вмоготу, у нее есть свойство на время вдруг делаться приятной, отстраненной, даже уютной, и в то же время слишком сладкой и липкой, как патока, но это всего лишь на время. Для него всего лучше было забыться, заснуть и проснуться уже утром. По-настоящему заснуть, а не так... Не эти кратковременные проваливания, когда отключается одна лишь часть из многих измученного сознания, самая незначительная, и облегчение от этого ни в какое сравнение не входит с тягостью возвращения, не полное отсутствие и небытие, а жалкая затуманенность действительности, вынужденная по приходу обратно смениться очевидностью еще более непримиримой и беспощадной, чем была до этого.

После очередного такого пробуждения он старался больше не засыпать, пытался занять себя чем-нибудь, чтобы только более не засы-

пать, но решимости не хватало на то, чтобы просто встать и покончить, наконец, со сном, но лишь, нашарив в пыли щепку, ковырять ею все тоже пыльное пространство вокруг и ждать, когда же измочаленное сознание его устанет настолько, что оголенность нерва сменится тупой одеревенелостью. И он опять и опять проваливался в эти приступы забывтья для того, чтобы спустя непродолжительное время, открыв глаза и пережив в очередной раз накатывающую дурноту от обретения себя, всматриваться в окно под потолком, пытаясь разглядеть там признаки зарождающегося дня. Уловил свежее дуновение сквозь щель в досках и приник жадно к ней, как измученный жаждой к источнику воды, и это на мгновение дало ему настоящее облегчение. Напившись вволю прохладного воздуха из этой щели, он стал смотреть в нее, и ему показалось там, в траве, недалеко, какое-то движение. Так и есть, замерло и вот опять... Он легонько свистнул, потом сильнее, и еще раз, сам не зная зачем. То, что было в траве, сорвалось, прошуршало в несколько приемов с замираниями и скрылось. «Всему завидуешь, — подумалось ему, — что может передвигаться ползком по земле, стелиться и вкапываться в нее». Особенно понравилось — вкапываться, не без удовольствия подумал, что совсем скоро эта возможность будет ему предоставлена. Эта мысль понравилась ему настолько, что он решил об этом думать. И даже не сама мысль... Это ведь всегда вдохновляет, не правда ли, когда что-то, предназначенное вызывать страдание, вдруг по какой-то причине приносит совершенно противоположное. Вернулся и опять присел на эти ненавистные доски, хранящие еще тепло его тела. На этот раз попытался даже устроиться поудобнее, стараясь не растерять эту внезапную воодушевленность, позволяющую, как он уже успел убедиться, получить хоть временное облегчение. Когда ему станет опять неважно, он опять подойдет к этой щели, и от этой мысли в камерке его стало чуть светлее. Или это уже начало светать. Пусть уж быстрее рассветает. А на рассвете... Все равно, пусть поскорее закончится. И патка опять сладкая и тягучая начала окутывать его вместе с дремотой, она вжимала его в землю, в эти черные доски, сложенные в углу, делала маленьким и беззащитным, как в детстве, он переворачивался набок, подтягивая колени к животу, и, казалось, что кто-то проводит рукой по его волосам. Ласковой легкой рукой. И ему уже не хотелось рассвета, он не помнил, почему, но не хотелось, лишь только лежать вот так, и больше ничего не надо.

И вот в очередной раз после своего просыпания, сбился по счету уже, какого, пришла к нему мысль, эх, что за мысль... И почему же только сейчас, почему не раньше. Он вспомнил, что более всего на свете боялся оказаться предателем, сломаться, не выдержав физических му-

чений, причем не просто сломаться, а согласиться поменяться, переложить страдания на другого, лишь бы избавить себя от них. Более всего он боялся этого выбора, того, что не сможет, не сдюжит, представлял, как будет соглашаться, теряя сознание от боли, затем, устыдившись, отказываться и, принимая очередную порцию нечеловеческих мук, вновь соглашаться. И сердце его предательски выдержит и не разорвется благодатно, не лопнет в груди, окажется неожиданно крепче его способности сопротивляться и терпеть боль, и вот, извиваясь и скуля, изрыгая проклятия и моля о пощаде, и теряя последнее человеческое в себе, окончательно утвердится в предательстве своем. И все беззакония, уготованные ему, будут творить с другими на его глазах. Более всего он страшился этой участи, моля Бога избавить его от нее, соглашаясь принять какую угодно, но только не эту, содрогаясь от одной мысли. И вот, надо же, придя к нему сейчас, эта мысль, самая ненавистная среди всех, стала для него главным утешением. Теперь-то уж он знал, что этим испытанием точно будет обделен. И так ему легко стало от этого, что не в силах сдерживаться, вскочил он с места к так кстати оказавшейся прямо над ним перекладине между стропил, подпрыгнув, зацепился за нее, перекладина крикнула, осела, но выдержала, а если бы нет — рухнула вместе с ним, вот шуму-то было, всполошились бы небось все. И он, повисев, спрыгнул вниз и громко от этой мысли рассмеялся. И опять пил из щели той своей свежего воздуха и улыбался, но поймав себя на непозволительной той расточительности, решил отвлечься и от мысли спасительной и от ветерка, дующего со стороны чернеющего леса, дабы не израсходовать весь запас этих снадобий раньше времени. Только когда боль станет невыносимой, не раньше, — твердо решил он и вернулся опять на свое место в серой пыли, так щекочущей нос. Сел и стал вспоминать из детства.

Дед его каждый год на праздник Троицы ходил пешком за семьдесят с лишним верст в монастырь с одною лишь котомкою за плечами. Напросился он тогда с дедом, лет десять-двенадцать ему было, и вот шли они пыльными дорогами среди бескрайних, куда глаз хватает, степей, из еды — только сухари в котомке да вода в роднике, ледяная до ломоты зубов и сладкая, пахнущая арбузом. От дождя, когда уж совсем шибко затевал, прятались в деревьях, а порой и не заходили под деревья, и, вымокнув до нитки, шли себе как ни в чем не бывало, и не успеешь глазом моргнуть, как выглянувшим солнышком да добрым ветерком подсушивало одежду на них. Это чувство свободы осталось в нем с тех пор, и он тосковал, что все реже испытывал его, а лишь в воспоминаниях. Эту блажь, когда ни о чем не надо заботиться, просто идти, — обо всем позаботится завтрашний день, тот самый. Посвистывать в ответ птичкам,

встретив зайца, непременно погнаться за ним, а, запыхавшись, упасть на поляне и, зажмурившись, валяться с травинкой во рту, а потом, замерев в неге, смотреть сквозь колышущиеся травы прямо на солнце, впускать в себя его свет и наблюдать волшебные лучики, не сияние или ореол, а именно лучики — тонюсенькие, остренькие, шаловливо вслед за движением твоих ресниц переблескивающие, удлиняясь и укорачиваясь, искрясь и вытанцовывая, и проводить в этом забытьи незнамо сколько времени, отвлекаясь от него и прекращая нехотя эти солнечные забавы, только когда уж дед, склонившись, ласково трепал его по сросшимся с травой волосами, шептал что-то на ухо да, подсунув руку под голову, поднимал улыбающегося и квелого и, сажая, осторожно отводил руку, возвращая к действительности. Потом, проходя мимо реки, непременно накупаться всласть, а, войдя в лес, долго стоять, прислонившись к одной из берез (неужто и деревья тогда были другими), теплому и родному стволу с тонюсенькими чешуйками, щекотно так дотрагивающимися до шеи, от налетевшего вдруг ветра начавшему скрипеть, и после того, как обнимешь его, сразу же и прекратившему жалобы свои.

А еще раньше, лет семи, наверное, заболел он книгами. Для него имело значение в книге все — обложка, иллюстрации, толщина и белизна бумаги, даже шрифт. Точно так же, как нам в дорогах нашему сердцу людям важны самые незначительные черты их характера и милые мелочи, присущие им. И, да, он замечал, что у каждой книги свой, только ей присущий запах, даже у новых, ну, а в дальнейшем книги впитывают запахи своих хозяев. Держа в руках еще не прочитанную, он сгорал от предвкушения и разрывался от противоречий: с одной стороны, ему не терпелось поскорее начать читать, с другой, как мог, оттягивал наступление этого сладостного момента. Он познавал книгу, как гурман познает редкое блюдо или как любитель вин смакует содержимое запыленной бутылки, предварительно смотря сквозь рубиновую влагу на солнце. И вот, наконец, после долгого и сложного подготовительного ритуала приступал к главному: начиналось чтение. Он не любил читать запоем, потому как уверен был, что при этом часть бесценного содержимого неминуемо теряется, и старался не спешить, заставлял себя откладывать книгу на самом интересном месте, чтобы потом, вернувшись к ней, перечитать и заново пережить эту радость. Удовольствие омрачалось тем, что каждый раз приходилось ощущать неизбежное утоньшение той части книги, что держалась в правой руке, и наоборот, та, что в левой, до обидного быстро становилась все увесистей. Утешал себя тем, что, прочтя после нее еще несколько кряду, он скоро очень забудет ее, напрочь забудет, и тогда сможет прочесть вновь, как в первый раз. Бывало, конечно, что книга ему не нравилась, редко, но бывало. Но он все

равно почти всегда дочитывал до конца. До самой последней страницы, не теряя надежды влюбиться. Когда уже шансов на это не оставалось, он все равно не сдавался, и последнее усилие направлял на то, чтобы быть ей хотя бы оправданной в его глазах. Одалживал читать книги другим он с большой неохотой, представлял при этом, как они небрежны будут в обращении с ними, станут заламывать корешок, листать размашисто, непременно слюнявя при этом палец. А еще, чего доброго, класть на край стола и потом неловким движением сбрасывать на пол.

А потом он прочел в первый раз Евангелие. После этого вся литература, даже та, которой зачитывался, которую защищал с пеной у рта перед другими, не разделявшими его взглядов, негодуя на их близорукость, перед которой благоговел, возымела вдруг для него один главный недостаток — то, что писана она была людьми. И даже сквозь безупречную стройность сюжета, мастерское изложение текста, да что там эти фехтования фразами и жонглирования смыслами, даже сквозь места, которые авторы обычно любят выставлять в избранных отрывках наиболее удачно получившимися, по их мнению и по совпадающему с ним мнению благодарных читателей, там, где вдохновение, обычно топчущееся на пороге скромной кельи творца, вдруг по какой-то причине, преодолев врожденную ей нерешительность, ошастливило автора своим кратким, но от этого еще более желанным посещением, — даже и там, под этой совершенной или максимально приближенной к ней писательской материей, вдруг открывалась ему скучная, а в какие-то моменты и вовсе убогая подкладка.

«Все искусство, — думал он, — все оно лишь про это — разгадать главную тайну. И если даже вдруг нет никакой тайны, а все сплошные выдумки, это тоже часть тайны, есть она или нет — тайна. Все в жизни направлено на то, чтобы подвести к ее разгадке». Он не знал наверняка, но предполагал, что случаются моменты, когда пелена между нами и тайной истончается настолько, что становится почти прозрачной, и начинает казаться, будто что-то видно на просвет.

Память о рассвете все равно никуда не исчезала, висела где-то с краю, и даже оттуда и жгла, и мучила, хоть и вполсилы. Но стоило только коснуться ее как наболевшей части тела — накатывала тошной волной и накрывала с головой. И мысль спасительная о малых сих помогала все меньше, все-таки незаметно замылил он ее, как и опасался.

Он понимал, что делать этого не стоит, но не мог удержаться, и, чтобы хоть немного заглушить боль, притягивался мыслями и фантазировал на тему возможного чудесного своего избавления.

У снов, кстати, кроме неправильно идущего времени, есть еще одна странность: они быстро забываются. Вот пройдет минута-две — и все

учет, как песок сквозь пальцы, останутся только смутные воспоминания. А действительно, почему так быстро испаряются сны, и если остаются, то не в том первоизданном виде, но в совершенно искаженном, переработанным нашим сознанием яви, подстроенным под нас теперешних.

Забывается не все, а выборочно, как если бы на березе, к примеру, остались только ветки с двенадцатью листьями, а все остальные и ствол оказались бы вдруг прозрачными. А то, что остается, приобретает вид фантазмогории, иногда страшной, но чаще странной, как человек без носа. Достаточно странно, к примеру, вообразить себе времена, в которые никогда не жил, но в которых отчетливо видится, что даже за обычную мелкую ложь преследует тебя везде в праведном желании своем плюнуть, целясь прямо в глаза, красивое молодое лицо, и куда бы ты не шел, вечно маячит оно перед тобой, как кобра, не сгибаясь и не отходя в сторону. Он пытается вяло противиться этому, но вышеозначенное лицо достаточно настойчиво в своих притязаниях.

В тот день у него все получалось (один из тех дней необычайной свободы). Проезжали через лес, и солнце между деревьев слепило глаза, и он, отпустив поводья, подкидывал вверх шомпол каждый раз все выше и выше, и сверкающий крутящийся в воздухе шомпол, со свистом разрезавший листву и мелкие ветки, неизменно падал в руку плашмя. А потом в голове у него сложилось очень удачное четверостишие, и он все твердил его про себя, чтобы не забыть, то декламируя в ритме марша, то проговаривая речитативом.

А когда выехали на редколесье, что-то срезало над ним ветку и обдало осыпавшимися листьями. И, успев удивиться этому факту, помня, что шомпол у него в руке, только тогда он услышал, как застрекотал впереди пулемет...

Рядом сидящий на лошади охнул и начал заваливаться набок, как бы отворачиваясь от предлагаемого ему настойчиво, а лошадь под ним всхрапнула и понесла, но что-то подсекло ее с громким деревянным стуком по ногам, и она, споткнувшись, рухнула вместе с седоком.

А как легко получилось у него обойти засаду с фланга и, спешившись и бросив лошадь, подкрадываться к пулеметчику, выбирая место, куда наступить, чтобы предательски хрустнувшая ветка не выдала его присутствие, и не зная точно, что делать, когда, наконец, доберется. В любой другой день ему наверняка было бы страшно, а сейчас — ни капельки. Кураж и уверенность в собственной неуязвимости овладели им, и, если бы дали ему револьвер с пятью патронами, прокрутив предварительно барабан, не задумываясь, приставил бы к голове и спустил курок. Когда уже до вражеского пулеметчика было рукой подать, пригибаясь пере-



бежками и выбирая заросли кустов, попал вдруг на земляничную поляну и поразился обилию ягод. Еще поразился собственной наглости, когда, не спуская глаз с маячившей перед ним спины в потной гимнастёрке переставшего на время стрелять красноармейца, стараясь не топтать уцелевшие ягоды, стал собирать те, до которых дотягивается рука, и, понапихав в рот, давясь и улыбаясь (представляя, как будет рассказывать вечером об этом), вытерев об себя красные от сока липкие руки, дождался опять пулеметной очереди, чтобы заглушила она звук его шагов, и так же легко, как и все остальное этим днем, проделал оставшийся путь. И вот он уже за спиной ничего не подозревающего брошенного, видимо, прикрывать отход основных сил тщедушного паренька, по виду и всем повадкам выученного совсем недавно стрелять из пулемета и, в попытках не упустить ничего из той науки, поводя острыми плечами, старательно выполняющего порученное ему задание. С удивлением подумав, что в пулеметчики обычно набирают бойцов покрупнее да здоровее, вытащил саблю из ножен, взял ее наизготовку, приготовившись к тому, что придется, наверное, замахнуться ею, чтобы привести в трепет и заставить покориться.

Почувствовав, наконец, его присутствие, парнишка обернулся, и он увидел, как округлились у того глаза, как побледнел и, привалившись набок, судорожно стал шарить подле себя в куче старых промасленных мешков, на которых так удобно устроился. Шарил долго со все более увеличивающейся амплитудой, так долго, что сомнения по поводу того, что ему там удастся все-таки что-то отыскать, в равной степени овладели как ищущим, так и тем, кто, напрягшись вначале относительно этих поисков, собственно, был их причиной. И все-таки он нашел, и когда, наконец, выдернул руку из-под мешков, в ней блеснул тускло вороненой сталью наган.

И даже надежда по этому поводу успела посетить его лицо и прояснила немного от испуга. Ровно с этим выражением лица, вполнину содержащим в себе надежду и растерянность, он, резко согнувшись, как бы переломившись пополам, устоял себе на живот. Там, куда прорвав и даже частью затянув с собою гимнастёрку, в середине расплывшегося бурого пятна всажен был на треть от своей длины клинок и оставался торчать, отпущенный на какое-то время неподвижным, с покачивающейся только на шнурке кисточкой.

Лезвие клинка входило вначале мягко, потом, уже там, внутри, — с каким-то скрежетом, мысль о природе которого он упрямо гнал от себя, когда она возвращалась к нему в воспоминаниях.

Точно так же в детстве, играя в рыцарей, сражались они с братом Севкой на деревянных мечах, Севка был младше его на полтора года, и он,

похваляясь, выжидал удобного момента и, отбивая вверх руку зазевавшегося Севки, отработанным уже приемом тыкал свои мечом в голый загорелый живот. Ему казалось, что делает это не больно, но Севка корчился, морщил губы, и на глазах у него выступали слезы.

А когда вынимал с тем же скрежетом клинок из осевшего тела, хоть и старался не смотреть на заколотого, все же отметил, что взгляд его переместился уже мимо клинка и мимо глянцевых складок гимнастерки чуть дальше вниз, где в притоптанной им же траве ползла по какой-то одной ей ведомой нужде, огибая вязкую лужицу жидкости, у нее на пути натекающей, торопливая букашка, и поразился, как похож этот щуплый красноармеец на брата Севку смуглостью лица, испугом округлившись глаз, а главное, податливостью, с которой сгибалось тело, впуская в себя клинок.

И все-таки оно наступило, это утро, и повели его через всю деревню за околицу, огибая покосившиеся загородки, ведра с помоями, полные плавающих мух, и выклеывающих их оттуда несущек, в сопровождении двух конвоиров, очень похожих друг на друга, как близнецы, обряженных почему-то этим летним утром в шинели (приказ, что ли, у них такой — расстрельная команда должна быть непременно в шинелях?), одинаково волочащих ноги в слишком великих им спадающих на ходу сапогах, нелепо задирающих при ходьбе длинные, до пят, полы шинелей, так, что ноги их казались выгнутыми назад, как у копытных, синхронно поворачивающих головы и смотрящих по сторонами, с опущенными и торчащими вперед ушами буденовок, закрывающих нижнюю половину лица и сбоку еще больше придающих им сходство с лошадьми, и, главное, по такой неволе бредущих мимо домов этих и огородов, словно это их ведут расстреливать. Те, кто попадался на пути, делали вид, что не замечают, и, занятые каждый своим делом, почти не отвлекались на появление этой процессии, мельком только окидывали взглядом, — кто-то смотрел в лицо, кто-то вдогонку, и он чувствовал эти взгляды спиной; можно, наверное, вообще как-то классифицировать людей по их взгляду на приговоренного к смерти. Но вот странное обстоятельство — те, кто встретился ему этим утром, у всех этих разных людей был один и тот же взгляд, такое тавро, общее для всех, и это их объединяло, и представилось ему даже, будто все они некие адепты тайной ложи, замаскированные под этих неопрятных, сметливых, притворяющихся занятыми, имитирующие свои озабоченности делами, сдвинувшими картуз на лоб и почесывающими до и после этого взгляда озадаченно затылок, или с наигранной веселостью, не прекращая рассказывать стоящим рядом что-то необычайно занятное, но при приближении его демонстратив-

но еще громче возвышая голос, как бы отводя подозрения и выделяя предназначенный услышать ему отрывок из рассказа. А иные и вовсе, не заморачиваясь лицедейством, не искусенные, может быть, в этом настолько или играющие другую роль, смотрели молча исподлобья, выросшие будто из земли или вырезанные из стволов обугленных от попадания в них молнии деревьев, и там, даже сквозь грубую кору и вырубленные местами не так искусно черты лица с пропущенными носогубными складками, выемками ноздрей и причудливыми нарушениями симметрии, даже там, в этих прорезях, образованных прихотью роста годовых колец и усилиями короеда, на дне этих безжизненных впадин, присмотревшись, обнаруживал он все тот же взгляд. В этом взгляде было знание предметов, недоступных ему. Так смотрели, наверное, с Олимпа боги Эллады на смертных, копошащихся внизу.

Но отчего-то смертный смотрел на них с чувством, не слишком вписывающимся в их регламент. Без ненависти и зависти, без отчаяния и унылой безнадежности. Ни скотской пустоглазой замордованности, ни мольбы о пощаде труса, ни презрительного высокомерия героев. Он взирал на все происходящее всего лишь с любопытством — неизвестно, чувствовали они это или нет, но ему было любопытно и жутко интересно посмотреть, что станет с этими их взглядами ровно через четверть часа, когда узнают они нечто такое, чего никак не ожидают, куда поддается их олимпийское спокойствие и какова цена этому сверхчеловеческому знанию.

Начали спускаться в глубоченный овраг за селом и метров через двести, на полпути, не дойдя до самого дна его, вышли на удобную площадку, а уверенность, с которой они остановили свой выбор на этом месте, наводила на мысль о неоднократном использовании его в означенных целях. Повернулся лицом по приказу этих двоих, хмуро смотрящих на него, как бы спросонья, и один, докурив сигарку до половины, передал другому, сам же перезарядил винтовку, ожидая, пока тот сделает несколько жадных затяжек. С последней, вобрав в себя побольше дыму, сощурившись ядовито и растянув губы, обжигая уже пожелтевшие усы и пальцы, протянул в его сторону: «Курнешь напоследок, вашбродие». Первый, глядя в передернутый уже затвор трехлинейки, только толкнул его под локоть, и тот, с сожалением выпустив в воздух струю сизого дыма, бросил докуренную сигарку под ноги и по примеру первого перезарядил свою. Затем оба уставились на него, ожидая чего-то, будто именно от него зависело дальнейшее развитие событий. И под насмешливое и одобрительное их молчание, незаметно сместившись от предательских берез в сторону так, чтобы над головой оказался кусок чистого, ничем не перекрытого голубого, с редкими облаками неба, он

снял с себя фуражку, широко и размашисто перекрестился, смотря при этом вверх, а потом, переложив фуражку из левой руки в правую, не отводя взгляда своего от неба, неожиданно почему-то присев и резко выпрямившись, почти подпрыгнув, метнул ее, целясь туда, в эту бездонную синь как можно выше, стараясь, чтобы ей ничего не помешало и не встало на пути у нее, и долетела она непременно до самого высокого вон того розоватого облачка. И даже какое-то время сам вместе с двумя своими конвоирами смотрел на крутящуюся и поднимающуюся все выше и выше фуражку, и вроде уже достигшую почти того облака, и коснувшуюся самого краешка его. Когда же, повисев там и дав всем желающим запечатлеть это в памяти, фуражка нехотя, не так уже бодро вращаясь, устремилась вниз и, прилетев, упала ровно на то же место, откуда и была молодецким сим взмахом подкинута, место это оказалось непривычно пустынным и лишенным, кроме этой упавшей фуражки, совершенно всего, в том числе и того, кто несколько секунд назад отправил ее в это недолгое, но незабываемое путешествие. Всполошившимся и чрезвычайно удивленным этим обстоятельством бойцам довелось всего лишь услышать треск ломаемых кустов под кубарем катившимся вниз, в овраг, хозяином фуражки. Бросившись вдогонку, продираясь сквозь густую поросль, путаясь в полах своих шинелей, они палили наугад, и пули, выпущенные ими, то с одной, то с другой стороны от него, несущегося сломя голову по склону, соскучившегося по подобного рода забавам, падающего, встающего, меняющего направление, спотыкающегося и опять падающего, стучали в стволы поваленных деревьев, сбивали листву, зарывались в землю, и, очень даже может быть, им удалось бы подстрелить беглеца, благо расстояние, неумолимо увеличивающееся со временем в самом начале их поспешного преследования, было не так уж и велико. В другой раз непременно удалось бы, но не теперь. И спустя некоторое время он уже, прислушиваясь к раздающимся вдали выстрелам, шуму и гомону, нещадно ободранный, исцарапанный, с ушибленной коленкой, доковылял до ручья, напился из него жадно мутноватой, пахнувшей тиной жидкости, неловко поскользываясь на мокрой глине, перешел его вброд и был таков.

И все было бы точно так, вплоть до мелочей, он представил, как все могло бы пройти по этому сценарию без сучка и задоринки. И как было бы здорово, если бы это было так. Но увы, давно уже, с тех самых пор, не испытывал он описанной легкости и неуязвимости (мелочь вроде, а какие последствия). Давно не посещало его чувство, что все ему по плечу, всего достигнет и все подчинится ему — и люди, и обстоятельства, и, стоит только захотеть и оттолкнуться, взмоет вверх птицей и пролетит над землей, совершенно не касаясь ее, вниз по склону, и нет для него

невозможного. Состояние то осталось у него лишь в воспоминаниях и в фантазиях его об избавлении. А еще в снах.

Может, вообще все это сон. А ведь действительно, это мог быть всего лишь сон, и, проснувшись в холодном поту, он вспоминал бы его и вздыхал с облегчением. Он представлял это так живо и во всех красках, как в самый последний момент сон этот просто гаснет, как свеча от сильного дуновения, он открывает глаза и садится в постели с сердцем, норовящим выскочить из груди. Как, постепенно успокаиваясь и благодаря Господа за то, что это оказался всего лишь сон, он опять окунался бы на мгновение в него для того, чтобы лишний раз пережить всю прелесть бытия, настоящего, где тебе ничего не угрожает, и посочувствовать себе в том страшном сне, не подозревавшему даже, что это всего лишь сон. Эх, если бы сон... Проснувшись, он вновь и вновь возвращался бы к нему, пересматривал, перечитывал, зная коварство снов, старался бы запомнить. И вполне возможно, что уже видел его раньше, сны ведь имеют способность возвращаться к нам и повторяться с небольшими изменениями. И все же если представить, что это сон, тогда надо всего-навсего лишь проснуться.

В детстве он как-то вывел уже способ просыпаться в самый страшный момент сна. Спасаться от преследующих его странного вида существ, похожих на ослов, но ходящих почему-то, как люди, на двух ногах, выгнутых назад. Причем иногда они не замечали его, проходя совсем рядом, как полупрозрачные тени, он тогда оставался для них невидим, и они спешили по своим делам, сновали взад-вперед, почти задевая его, поднимались по лестницам, ступая широко через ступеньку, а иногда кто-то из них замирал и долго стоял рядом, всматриваясь как бы сквозь него. Но в других снах он не мог сдерживать своего страха, и по этой причине оказывался видимым, и тогда они преследовали его по какому-то придуманному ими плану и, как бы он ни старался запутать их, оторваться, забиться в самые недоступные места, всегда оказывалось, что это ими уже предусмотрено, и тоже является частью их коварного плана. И, убегая, он уже знал заранее, что все его усилия напрасны, и рано или поздно обязательно окажется в ловушке, и, помня о единственном способе спасения, все равно не применял его раньше времени, для него это было бы нарушением правил, лишившим сон всякого смысла, он был уверен в его безотказности и использовал в самый последний момент. Иногда только, в редкие случаи, забывал ненадолго, и тогда сон превращался в кошмар, но быстро вспоминал, и радости не было предела. В какие-то моменты даже позволял себе покуражиться, подпуская их намеренно совсем близко, и вот, когда уже все пути к отступлению были отрезаны, тогда только прибегал к этому способу. Он был достаточно простой: надо было всего лишь крепко

зажмуриться и долго-долго трясти головой. А потом открывал глаза — о чудо, видел комнату свою и гуляющую занавеску на двери, и приоткрытое окно, и в нем при яркой луне — темный силуэт склонившегося дерева, как заглядывающего в окно великана. И самое страшное — даже не когда они готовы схватить, а момент перед тем, как открыть глаза: вдруг окажется, что это не сон. Но с какого-то времени он перестал видеть сны, а когда они стали приходить к нему вновь, и он пытался воспользоваться старым приемом, он уже не действовал.

Вот и сейчас, если это всего лишь сон, то в нем непременно должна быть разгадка просыпания, какой-то набор действий, а может, мыслей, в определенной последовательности, произведя который, он сможет одержать верх над этим ужасным сном, надо только постараться найти его. В голове засело и упрямо крутилось: тропос — когда-то слышанное им и неожиданно выуженное из закоулков памяти, кажется, на древнегреческом означавшее «способ». Он, конечно, попробовал и тот свой старый способ, без особой надежды, правда (может, поэтому-то и не сработало), потом стыдливо оглядывался, будто тому могли быть свидетели. И, отчаявшись, готовился покончить с мучительными поисками, но с полной ясностью вдруг предстало перед ним то, что пытался он безуспешно отыскать, и в существовании чего стал уже сомневаться.

Вспомнил себя сидящим отчего-то в темном сарае, почти в таком же, как этот, тоже пахнущем пылью, старой древесиной и еще чем-то сладковатым, только еще более ветхом и как бы слегка перекошенном. Вспомнил, что даже отвернулся нарочно, будто предугадывая случиться чему-то необыкновенному и подготавливая достаточно пространства для этого. Почему-то он был уверен, что для ожидаемого им непременно требуется пространство, и, сдвинувшись ближе к двери, оставил под это всю затемненную часть сарая за спиной. И вот еще отличия — дверь была распахнута и зажжена свеча. Эти непременные атрибуты, сопутствующие тому, что ожидалось, и в момент наступления чего свеча должна тотчас погаснуть, а дверь — захлопнуться сама собой. Так, собственно, и произошло, и свеча, и дверь откликнулись и в точности выполнили все предписанное им. Но это совсем не поразило его. Это такие несущественные мелочи в сравнении с тем чувством восторга и ликования вперемешку со страхом. Сердце радостно щемит от предвкушения того, что должно произойти, и спустя непродолжительное время оно действительно происходит. То, что так легко принять вначале за первые признаки нарождающегося утра.

Очнулся он, отбивая зубами чечетку, в периодически накатывающих приступах дрожи, парализующих тело, доводя помимо его воли сокра-

щение мышц до стадии судорожного и запредельного. А неизбежное прояснение неба, когда оно, пройдя по очереди все этапы своего ночного превращения, начиная с чернильного со светлеющими подробностями, подчеркиваемого особо яркою луной, взирающей равнодушно под стать тем деревьям, переходящего затем в цвета этого всего остального и сливающегося с ним и маскирующегося под него, когда вокруг, будто в результате какого-то искажения зрения, окружающие предметы в крайней нечеткости своей выглядят как в тумане (далекие кажутся близкими — протяни руку и дотронешься), и, наконец, по завершении этого часа слепоты и всеобщего уравнивания, отрываясь от не слишком достойного быть с ним одним целым, и по мере светления, поднимется и займет свое законное место в иерархии, а то, от чего оно отделилось, будет темнеть, проступать контрастами, различаться одно от другого и оставаться с нами.

Пребывание в этой утренней отчетливости, скорбной и беззвучной, похожей на отсыревшую газету с бесполезными известиями наступающего дня, с начавшим уже явно проявляться цвета нежно-оранжевой семги прямоугольником на стене напротив окна с почти незаметными пересекающимися крестообразно затемнениями внутри него, чуть унявшейся дрожью, но по-прежнему не подчиняющимися приказам мозга стылými одеревенелыми конечностями, сошло на нет после первого сделанного им глубокого вдоха, представившегося ему внутри почему-то законченностью круга, что должно точно обозначать законченность и всему небывалому переживанию его. Встал и, потянувшись и похрустев позвонками, почувствовал себя, несмотря на тяготы прошедшей ночи, достаточно бодрым и выспавшимся. И, так же, как, скользя взглядом по привычному, вдруг с удивлением натыкаешься на что-то, появившееся совсем недавно, — так же и он, приводя в порядок свои ощущения и воспоминания, обнаружил вдруг в себе перемену и сразу понял, что это за перемена, и откуда она в нем.

Загремел замок, упал тяжелый засов и воцарилась пауза. Никто не входил внутрь. Время тянулось тоскливо, он снял гимнастерку с себя и стал стряхивать, сторонясь от пыли. С чужого плеча гимнастерку, его собственную, из дорогого сукна, сшитую на заказ, накануне, приложившись хорошенько, после чего он не досчитался одного зуба, а два соседних безнадежно шатались, сделавшись будто длиннее, чем были, и ныли, когда он задевал их языком, «выменял» у него на эту, пропитанную многими людскими и конскими потами, несуразную, с длинными рукавами, которые ему приходилось подворачивать, но чересчур короткую, такую, что едва доходила до пояса, кавалерист в залихватски заломленной черной папаче с нашитой наискосок по ней красной лен-

той. Ладный молодец, поговаривали даже, что у него на хуторе за рекой живет зазноба, к которой тот хаживает тайком. Довольно рассмотрев ее со всех сторон и коротко прокомментировав при этом: «Тебе, ваш-бродие, она боле без надобности», — так и пошел медленно от него, полностью занятый обновой, прикладывая к плечам и прижимая подбородком и натываясь при этом на встречных людей и предметы.

А они все не идут, сколько уж времени прошло, как скинули замок и ни души, забыли про меня, что ли? Так думал он, и сам удивлялся своему спокойствию и тому, как легко стало на душе. Затем, стряхнувши, опять надел на себя эту гимнастерку с большими вытравленными пятнами подмышек, потопал, сбивая пыль с сапог и, оглядевшись буднично, как и всегда перед выходом, желая удостовериться, что ничего не забыл, направился к двери.

«С утра странный какой-то ходит, сам не свой, задумчивый, обмолвился, что сон необычный видел, ложечкой минут пять в чашке мешает, а сахар-то не бросил туда, и взгляд отрешенный такой страшно-страшно отрешенный», — Зина говорила, немного скосив вбок глаза, с чуть заметной полуулыбкой вечного стеснения, длинными тирадами, плохо усваиваемыми из-за быстроты и частоты произнесения, а еще из-за пропуска некоторых окончаний и ярко выраженного южно-русского говора, и останавливалась только, когда заканчивался запас воздуха в легких. Тогда она делала глубокий вдох, еще более поджимая подбородок к белому кружевному воротничку и выставляя вперед плечи, и продолжала свой рассказ ровно с того момента, на котором остановилась мгновение назад.

От тетушки не укрылось волнение Зины, но виду она, как обычно, не подала. Приходящаяся по отцовской линии внучкой генералу Ртищеву, чуть не пленившему на Березине самого Бонапарта, имела она страсть к месту и нет вставлять французские словечки, и за это получила от племянников шутовское прозвище Монплеизир, болела с юности пышным букетом разных болезней, пережив в них надолго своего мужа; все реплики и ремарки о собственном здоровье делались ею особенным тоном непоправимости и трагичности, в глазах тогда загорались огоньки утомленности жизнью, и от других разговоров их непременно отделяла внушительная пауза, имевшая целью подчеркнуть неизмеримую разность значений. Голос при этом становился на полоктавы ниже и от этого приобретал дополнительную достоверность. Любой из многочисленных докторов ее, посмея хоть мимолетно усомниться в серьезности и неизлечимости хоть одного из ее заболеваний, тотчас же и навсегда был бы выставлен с позором из ее дома. В остальном же она была очень



добрая и сердечная особа, души не чаявшая в своих племянниках, потому как своих детей, по причине вышеозначенной слабости здоровья, у нее не было.

Слушая сбивчивый рассказ Зины, тетушка совершала при этом, как и всегда, странные жесты, похожие на условные знаки, что-то среднее между дирижированием и языком глухонемых, поводя плавно рукой как бы в такт неслышимой музыке, вращая кистью и перебирая пальцами, она вдруг замедлялась в этом своем движении, а то и замирала с поднятой рукой, и, во всем копируя ритм тетушки, Зина также начинала говорить медленнее или замолкала, и переставала даже при этом лить чай по чашкам из большого дымчатого с перламутром турецкого чайника. Пауза эта была нужна тетушке для того, чтобы задать уточняющие вопросы или просто перевернуть услышанное, и далее уже, воскликнув одно из немногих излюбленных своих французских словосочетаний, означающих с небольшими вариациями приблизительно одно: «Ах, вот оно, коварство жизни, теперь мне все ясно», — делала разрешающий жест рукой, изредка дополняя фразой: «Продолжайте, Зина, но не так быстро». Когда же руки ее были заняты пасьянсом, она вполне удачно выполняла все вышеописанные пассы кивками своей крупной породистой головы.

По утрам пасьянсы она не раскладывала, поэтому сейчас руки ее были полностью свободны, и, пользуясь этой свободой, но пребывая в напряженном осмыслении только что услышанного, она остановила щебетание Зины с некоторым запозданием. «Так что же это за сон, Зина?» — смотря в свою наполовину пустую чашку, произнесла она с особенным нажимом и в абсолютной уверенности в том, что Зина просто обязана знать ответ на этот вопрос.

Как ни странно, Зина ничуть не смутилась вопросу, и, перейдя на громкий шепот, поведала тетушке о том, что в подробности она, конечно, не посвящена, но вот слышала, как проговорился он, что в том сне был убит на войне. «На войне, как интересно, на какой войне, Зина? — отхлебнула и отодвинула решительно свою чашку. — Чай совсем простыл, — не меняя интонации, произнесла она, — подлей горячего, так на какой войне, он не говорил? С французами или с англичанами?» — «Нет, Анна Сергеевна, не говорил, — чуть медленнее обычного произнесла Зина, опять перейдя на шепот, — только слышала я, что будто казнен он был во сне или приговорен к казни». — «Казнен, мон шер, это интересно. Гильотина. Ах, гильотина, как это романтично. Я уверена, Зина, он непременно во сне был гильотинирован, слышишь, непременно». Зина согласно склонила голову, подставляя тетушке дымящуюся чашку.

Комвзвода, сидя за столом, перебирал топографические карты, некоторые из которых он знал наизусть, другие видел впервые, переправленные сегодня только с посыльным из штаба для координации нового наступления. Он морщил брови и щурил глаз, пытаясь понять, что означают эти новые, еще не виданные им раньше символы. Пленный офицер сбежал под утро. Как раз накануне наступления. Он должен был допросить его еще вчера, но оставил это до утра. А утром допрашивать было уже некого. Ну, Сидорук, сучий потрох... Он сжал карандаш так, что тот треснул в его руке, встал, подойдя к окну, толчком, со звоном стекла, раскрыл его, швырнул туда обломки карандаша и, выглянув, рывкнул в пространство: «Сидорука ко мне, бегом».

Подойдя к зеркалу, осмотрел себя, втягивая живот, и, проведя двумя большими пальцами, просунутыми за ремень, тщательно собрал назад все складки гимнастерки, соединив вместе ноги, полюбовался на ладный крой командирских сапог, к вечеру вчера густо смазанных жиром, за ночь впитавших его и матовым сытым блеском подтверждавших статус стоящего в них перед зеркалом, не обошел не без удовольствия вниманием и не сходящуюся посередине линию ног, оставляющую пространства кулака в полтора, не меньше, неотъемлемый и верный признак причастности к касте избранных кавалерийским богом, покрутил на гладко выбритом до синевы лице смоляной закрученный ус, затем заинтересовался другим, и в тот момент, когда некоторые усилия по выравниванию их до одинаковой степени загнутой уже были почти вознаграждены, увидел в отражении зеркала прямо за собой запыхавшуюся испуганную физиономию вошедшего в комнату Сидорука. Это была одна из немногих ситуаций в жизни конопатого бойца по фамилии Сидорук, кажется, знакомого уже читателю, когда его не расстающийся с улыбкой рот с тяжелой нижней челюстью, компенсирующий мрачную открытостью своей неизлечимую веселость, изменил своей привычке.

Комвзвода, медленно повернулся лицом к вошедшему, меняя изображение его в зеркале на стоящий за спиной оригинал, и для начала выдержал паузу, испепеляя гневным взглядом соображающего обычно долго и с трудом, но сейчас готового мимикрировать под серого цвета в мелкий розовый цветочек занавеску, висящую сбоку и отделяющую эту часть комнаты от другой, меньших размеров, с застеленной кроватью, с парой взбитых подушек, обшитым жестью ларем да наградным седлом, врученным ему — комвзвода — перед строем лично самим комдивом товарищем Метелицей за переход вброд ледяной бурной реки на выручку попавшим в засаду бойцам, после которого две недели провел в госпитале, писая розовой мочой и стараясь не встречаться взглядом с как на подбор ладными, бойкими, олицетворяющими добро

в активной ее фазе сестрами милосердия, и только тоскливо глядя им вслед. Сидорук судорожно сглотнул, при этом кадык его нырнул вниз, скользя и растягивая становящуюся более прозрачной на самой вершине его бледную с рыжей щетиной кожу, и вернулся обратно, издав при этом звук, похожий на скрип уключины. И, наконец, в стойко проявляющемся поочередно нервном тике то левой, то правой части подгубной впадины голосом, давшим петуха, доложил: «Товащкомвзвобое-краснармсидорупвашприказаньприбы!» — «Та-ак, — начал комвзвода, внутренне раскручивая себя и настраиваясь на разгромный лад, — кто-кто прибыл? Боец красной армии? Какой такой боец, не вижу бойца, врага революции вижу, — голос его нарастал, пошло мелкой дрожью зеркало, карты на той части стола, что были ближе к нему, слетели на пол (Сидорук не выдержал и спортил воздух), — ты ж какого вражину упустил, — комвзвода подходил к нему по дугообразной траектории, с каждым мелким шагом все выше поднимая и отводя назад плечи и пригибая голову, что придавало ему сходство с хищной птицей, — Советская власть тебе все дала, а ты, гнида, врагов ее на волю отпускать. Так я ж тебя на месте сейчас, без суда и следствия». И, подскочив вплотную к теряющему сознание Сидоруку, привычным движением рванул наверх крышку кобуры маузера, но тут в самый ответственный момент случился конфуз: шаря правой рукой по тому месту, где всегда висел маузер, в этот раз он его не находил, пальцы царапали пустоту, откуда-то из Сидорука через посиневшие губы вырывалось подозрительное бульканье, будто все внутренности его закипели под действием этого нечеловеческого напора, и оно мешало комвзвода сосредоточиться. Он смотрел поверх головы Сидорука и видел всю комнату в перспективе в виде удаляющегося тоннеля, в самой дальней точке которого, почти там, где пересекаются все четыре грани переходящего в небытие пространства, на низеньком табурете желтел смутно предмет, очень похожий на тот, что тщетно он сейчас пытался обнаружить у себя на боку, положенный на тот табурет с вечера еще, да и позабытый во всей этой командирской кутерьме. Комвзвода не был человеком, способным смазать, свести на нет, унижить столь возвышенное, полное революционного подъема устремление души, цинизм его, конечно же, не мог дойти до такой стадии заоблачной выси, чтоб столь высокого рода порывы закончены были столь мелким осознанием банальной забывчивости. Надо было как-то выходить из положения. И он сделал лучшее, что вообще можно сделать в данной ситуации (ни в каких кружках художественной самодеятельности до революции он не участвовал, был всего лишь обладателем редкого природного дара). Он вздохнул и покачал головой. Но не просто вздохнул, а вздохнул великодушно в некоторой степени даже

по-матерински, ведь для каждого бойца он был еще и как мать родная, вот и вздохнул так, и покачал также головой, сжав при этом губы со скорбной складкой и отведя взгляд философски в сторону. Подождая, пока солдат сам придет в себя (но тот стоял, выгнувшись и запрокинув голову, в состоянии сомнамбулического транса и явно не мог сделать этого по своей воле), комвзвода вернул его на землю резким хлопком по животу тыльной стороной ладони, от чего Сидорук, выгнувшись уже в обратном направлении и вытаращив глаза, удивленно провел ими по комнате, соображая, на каком свете он, на этом или уже на том.

Через минуту вошедший в комнату красноармеец Бахтин застал Сидорука бледным, но способным крутить головой вслед за вышагивающим по комнате комвзводом и отвечать на короткие вопросы его торопливыми и отрывчатыми, перемежающимися всхлипываниями почти беззвучными открытиями рта.

«Что? Живот прихватило? А на кой ты дверь-то ему открыл? Ах, шибко прихватило, а с кустов ты с него глаз не спускал, говоришь... Ну-ну... Как так не выходил? Куда же он делся тогда? Ты что мне сказки тут рассказываешь, морда кулацкая, говорю тебе, пойдешь в расход заместо него, пособник врага трудового народа. Бахтин, — обратился он к ставшему по стойке смирно, — забери-ка у него винтовку и запри в том сарае. Разберемся. Ключи еще, ключи от замка у него возьми, да смотри в оба за ним». И тише, уже как бы размышляя сам с собой, добавил: «И рысью ко мне». Но Бахтин, скуластый сметливый бурят-полукровка, услышал это, и на выходе, оглянувшись и кивнув, нарочито громко скомандовал: «Ну-ка, шибче», — и толкнул прикладом замычавшего Сидорука.

Бахтин, будто буквально решивший исполнить приказание командира, уже протискивался обратно в щель двери, ставшею узкою из-за пущенного в раздражении и откликаясь на остаточный уже всплеск от преследующей его мысли о неслучайности всех этих совпадений, ногой в матово блестящем сапоге вдогонку уходящим бойцам стула, проехавшего до самой двери, и теперь под аккуратным натиском Бахтина сдающего обратно сантиметр за сантиметром расстояния, покрытого им в одно мгновенье. Бахтин, сопя и переводя взгляд с медленно ползущего под его напором стула на комвзвода, задумчиво теребящего усы, и стараясь не отвлекать его, проделывал все это максимально бесшумно, упрямо, в несколько приемов, умудряясь при этом совершать, ко всему прочему, и ряд непростых арифметических вычислений, включающих в себя не только отодвигание стула, но и втягивание собственного живота и в качестве суммы этих двух величин ширину открытия двери, пролез в итоге все-таки в нее и с облегчением вступил в комнату, не

замечаемый на всем протяжении этих сложных манипуляций занятым своими мыслями комвзводом.

Когда же вышедший из оцепенения комвзвода поднял, наконец, глаза, то лицезрел Бахтина скромно и достаточно долго уже стоящим у стенки и рассматривающим наклеенный на нее красочный агитплакат с толстыми серыми буржуями, ползущими и тянущими свои волосатые руки к красному извивчатому пятну с затейливыми краями и надписью посередине ее крупными буквами: «РСФСР», и молодецкого матроса с таким же, как у комвзвода, маузером через плечо, но для пущей надежности еще и с винтовкой с длинным штыком, острием которого он весело подвздевал этих мелких, но ужасно противных в высоких цилиндрических колпаках буржуев сразу по нескольку штук — а чего там мелочиться — и выбрасывал куда-то за край плаката, о чем свидетельствовали во множестве торчащие оттуда их в полосатых штанах ноги.

«Бахтин, а ну подь-ка сюда да стул вот этот захвати, — комвзвода указал на стул возле двери, — присаживайся, ближе, не бойся, во как бывает, вишь, думаешь свой, пролетарьят, а он притаился на теле революции и выжидает, гадина, как ее побольнее укусить. Эх, Бахтин, кругом враги, окружили они нашу молодую республику, она им как кость в горле, вот, — он показал на плакат, который только что рассматривал Бахтин, — ползут на нас со всех сторон. Но ничего, мы их все равно к ногтю... Правда ведь, Бахтин, к ногтю?» — «К ногтю, товарищ комвзвода!» — «Вот, не ошибся я в тебе, чувствуется рабочая косточка». — «Так это, деревенские мы», — протянул Бахтин. — «А крестьянство, оно тоже рабочий класс. Эх ты, деревенские, — поддразнил его комвзвода и уже мечтательно, устремляясь взглядом куда-то вдаль, за этот побеленный широкими мазками с просветами потолок, туда, в воображаемое им будущее, — Но ничего, одолеем всякую нечисть, жизнь такая настанет, такая... Учиться пойдешь. Ты, говорят, Бахтин, знатным охотником был, стреляешь хорошо, в лесу как дома?» — «Ну да, сызмальства я с батеи, — смущенно потупился тот, — соболей шкур по сотне бывало в волость свозили, а белку с лисой, тех без счета». — «Это хорошо, хорошо, — комвзвода одобрительно похлопал Бахтина по дрогнувшей коленке, и неожиданно сменил тему, — слышал белый офицер сбежал?» Не зная, как правильно отвечать, но по инерции набрав воздух для ответа, Бахтин так и замер на вдохе, задержав дыхание в себе, и молчал, краснея и рассматривая щели в полах в углах комнаты с оторванными плитусами и подоткнутыми в них тряпками, чтобы не поддувало, но еще и от мышей, которые в некоторых местах были вытащены, видимо, теми же мышами, и валялись рядом. «Правильно реагируешь, — неожиданно одобрил его комвзвода и продолжил, понизив голос, с нажимом

и сверля глазами, — так вот, Бахтин, не должен он дойти до своих, не могу сказать тебе всего, но, поверь, это очень важно для нашей советской республики. Иди и приведи его, найди мне его живым или мертвым. Не получится живым, сам знаешь, что делать, главное — найди».

Бахтин без труда по выломанному орешнику обнаружил место, откуда беглец, покинув свой сарай, вошел в лес, вернее, ввалился, как лось, не таясь и не маскируясь, видно было, что спешил. Достичь леса для него означало обрести свободу. «Ну что же, посмотрим», — Бахтин кропотливо, метр за метром, обследовал близлежащие заросли в поисках других следов, периодически останавливаясь, аккуратно кончиками пальцев отгибая листья, выуживая из гущи травы запутавшиеся в ней веточки, поднося их близко к глазам, а иногда замирая и задрав голову вверх, высматривал там, в кронах деревьев, какие-то одному ему известные подсказки. Но, несмотря на все его старания, других свежих следов, ведущих в лес, ему найти не удалось. Пройдя по кругу и вернувшись опять в начальную точку, на тропинку, пробитую спешащим к своей свободе человеком, он пошел по ней. Идти ему пришлось всего ничего — верст семь каких-нибудь, ориентируясь когда по притоптанному и надломленному, по оборванной паутинке и еле уловимому запаху, раздвинутым недавно проходящим меж них веткам и вроде сошедшимся сразу обратно, но чуть не так, чуть потревоженным и запомнившим это. Да, лес имел способность запоминать, а Бахтин звериным чутьем своим читал эту память леса как книгу и уверенно шел по следу.

Он увидел его неожиданно, когда лес поредел, и сквозь деревья заблестело серое вздувающееся барашками полотно реки, несколько огромных валунов, которые вода огибала с ревом, клубясь, пенясь, в некоторых местах образуя завесы водяной пыли, которые проявлялись на солнце радугой и которые так приятно пересекать в жаркий день. Бахтин вспоминал, как они несколько раз на подобных переправах устраивали засады потому, как их часто выбирали медведи для своей рыбалки, но сейчас по этим камням шел не медведь, сейчас их перебегал тот, кого ему, Бахтину, поручено найти.

Темной стеной стоящий по ту сторону реки лес таил в себе много опасностей. Допустим, уйти и там ему от Бахтина не удастся, но там вполне могут встретиться разъезды белых, и тот успеет дойти до своих раньше, чем он его нагонит, а может ведь и сам, почуяв неладное, затаясь на том берегу и дожидаться, когда Бахтин, начав переправляться через реку, станет уязвимым. Оружия при нем не видно, но всякое может быть, тоже, видимо, не лыком шит, важная птица, раз так разволновался комзвода. Все эти мысли вихрем проносились в голове у Бахтина, пока он прилаживался для того единственного выстрела, облокотив

винтовку на деревце, так удачно и будто нарочно на этом месте выросшее рогатинкой. «Идет верно, не оглянется даже, — отметил Бахтин, и после того, как попал уже покачивающийся затылок переступающего с камня на камень человека в прицел его винтовки, попал и привычно сросся с ним, стал одним целым, как птица попадает в приготовленные для нее силки, и не вырваться ей уже, — подумал: ну все, теперь не уйдет».

Около часа еще пролежал он в своем укрытии, хоронясь и выжидая, не пожалует ли кто на выстрел. Отраженный от воды дальним эхом разнесся по уходящим вдаль окрестностям, темные вековые ели, эти вечные дозорные, встрепенулись выпорхнувшими с них птицами. Бахтин лежал, зорко высматривая цепким взглядом каждую шевельнувшуюся веточку, задетую пробегающим зверем, каждую ветром клонимую травинку, и когда уже ясно стало, что никого из живых на том берегу нет, тогда только подошел он к реке и вступил на мокрые камни.

Тот человек лежал, свешиваясь с камня лицом в воду, также в воде была его правая рука и причудливо колыхалась там, понуждаемая потоком, и казалось, что он под водой перебирает пальцами струны невидимого инструмента. На стриженном коротко затылке его чуть заметна была аккуратная черная дырочка, крови из нее вытекло немного, и дорогого сукна гимнастерка осталась чистой и не замаранной. Небольшая струйка красноватого дыма в прозрачной воде под его головой все еще повторяла затейливые повороты и изгибы изменчивого на речных порогах течения, в левой руке, неловко подвернутой под себя, темнел какой-то предмет. Бахтин носком сапога вывернул руку эту наружу, она разжалась, и на мокрую поверхность валуна вывалилась смятая черная папаха с нашитой на нее наискосок красной лентой.